



МАРИНА
СЕМЕНОВА

О СЕКСЕ



ДАЖЕ
НЕ ЗАЙКАЙСЯ

Живет на свете девочка Дина, немного несуразная, чуть-чуть невезучая и очень неуверенная в себе. И подруг у нее нет, и мальчики в нее не влюбляются. Зато у нее есть мама, которая рулит жизнью дочери с непобедимым энтузиазмом. И вот заканчивает девочка Дина школу и решает ехать учиться в другой город, в котором живет ее «ненормальная и совершенно безбашенная бабушка». Именно так считает Динина мама и пугает дочь страшным местом, в котором работает ее безумная родственница.

Что это за «страшное место» и как сложатся отношения у внучки с эпатажной бабушкой, полностью перевернувшей ее жизнь, можно узнать только по прочтению этой замечательной и светлой повести, написанной, как всегда, легко, с юмором и любовью.

Марина Семенова

О СЕКСЕ ДАЖЕ НЕ ЗАИКАЙСЯ

Я не люблю стариков. И, наверное, буду за это наказана. Беспросветным одиночеством и равнодушием собственных детей. Может быть они даже сдадут меня в дом престарелых. А это, говорят, самое страшное, что только может произойти с людьми в старости.

Но сейчас я не хочу об этом думать. Сейчас мне думать об этом слишком рано. Мне всего семнадцать. Я только что закончила школу в маленьком провинциальном городке... Кстати, почему всегда так говорят в «маленьком провинциальном городке»? Интересно, бывают ли на свете большие провинциальные города?

Вот видите — все люди употребляют привычные словосочетания не задумываясь, а я так не могу. Я всегда задумываюсь. Все, что я слышу или читаю, начинаю подолгу крутить в голове, анализируя и разбирая на пазлы, и порой додумываюсь до самых невероятных вещей. Мысли беспрестанно жужжат и носятся в моей голове, сталкиваясь друг с дружкой или, наоборот, увязают надолго в закоулках моего разума, в установках

моего сознания и эмоциональных ловушках подсознания, обрастая потихоньку, как болотная кочка мхом, страхами и комплексами.

Если другим девочкам родители беспрестанно твердят: «Возьмись за голову! Сядь за уроки! Подумай о своем будущем! У тебя одни гульки на уме!», то со мной все с точностью до наоборот. Мама все время умоляет: «Пойти погуляй, Дина! Сколько можно сидеть дома?! В твоём возрасте я уже встречалась с мальчиками и целовалась!», а папа только тяжело вздыхает и прячется за газетой, потому что, если он вовремя не спрячется, мама непременно переключится на него: «Ну что ты молчишь? Скажи ей хоть ты!»

В свою, особо активную фазу, мама так просто не успокаивается и таки достает папу из-под газеты:

— Тебе что, совсем все равно?!

— Нет, милая, мне не все равно, — отвечает отец очень спокойно, как можно спокойнее.

— Тогда почему ты ей ничего не скажешь?!

— Потому что это — бессмысленно, — мягко улыбается отец, но этот его мимический призыв к умиротворению еще больше заводит маму. Впрочем, нашу маму заводит абсолютно все. Она, вообще, очень заводная — наша мама.

— То есть, ты находишь нашу дочь бесполезной?! — кипит и пенится мама.

— Я такого не говорил, Лара. У нас замечательная девочка, добрая и умная.

— Но, ты же сказал — бесполезно! — мама закатила глаза и топнула ножкой в тапочке с помпоном.

— Я сказал «бессмысленно», а не «бесполезно», и имел ввиду совершенно не то, что ты услышала! — в голосе отца тоже появляются раздраженные нотки. — Я хотел сказать, что не нужно никого переделывать! Бессмысленно пытаться делать из зайца льва или слона. То, чем любят заниматься твои замечательные коучеры на всевозможных тренингах какого-то там личностного роста.

— Ах, боже мой, сколько сарказма и пренебрежения! — щурится мама и я понимаю, что

спор затянется надолго. Родители оседлали свою любимую тему.

Дело в том, что моя мама, обеспокоенная моей неуклюжестью и отсутствием в моей жизни необходимого количества подруг и хоть какого-нибудь бойфренда, последние два года таскает меня по всевозможным семинарам и мотивационным тренингам по воспитанию женственности, чистке кармы, нахождению целей в жизни и достижению успеха. Она нестигаема уверена, что нашу родовую карму сильно подпортила моя бабушка и папина мама, прожившая, по ее мнению, совершенно безалаберную и безнравственную жизнь. Папа же считает, что «кесарю кесарево» и нечего ломать копыя и пытаться сделать из меня тамаду и «душу компании», если мне комфортнее тихо сидеть в углу и помалкивать в тряпочку, часами гоняя в голове свои сложносочиненные мысли.

— Лара, отстань от девочки! Пусть она сама решит, что ей нужно в этой жизни и, главное, чего ей хочется.

— А если она не может сама решить? — разводит руками мама.

— Дорогая, тебе не кажется, что ты противоречишь сама себе? — фыркает папа. — Может это именно ты считаешь ее никчемной, если не веришь, что она не в состоянии сама за себя ничего решить?

Папа торжествует, загнав маму, в угол, но, видимо, торопится праздновать победу.

— Не важно, кто и что из нас считает! Важно — что каждый из нас делает! Я, к примеру, делаю все, чтобы жизнь нашей дочери была полноценной, успешной и интересной!

— Бесконечно таскать ребенка на сомнительные семинары и тренинги, забивая ее и без того забитую голову всякой ерундой, именно *это* ты называешь «делать все»?! К твоему сведению, «успешная» и «интересная жизнь» — это не синонимы!

— Конечно! Сидеть в дохлой конторе за три рубля — это гораздо интереснее, чем возглавлять какую-нибудь преуспевающую фирму.

Мама зло щурится, стараясь, как всегда, ударить по самому больному. Но ударить «больно»

не получается, у папы на этом месте нарашен приличный мозоль.

— Да! Представь себе! Мне гораздо интереснее сидеть в дохлой конторе за три рубля, чем возглавлять какую-нибудь преуспевающую фирму. И я считаю, что нет смысла пыжиться и надувать щеки, изображая из себя то, чем ты на самом деле не являешься. Сколько грушу не мотивируй — ананасы на ней все равно расти не станут!

— Значит, по-твоему, я пыжусь и надуваю щеки?! — мама переходит на фальцет.

С этого момента родители напрочь забывают обо мне, и у меня появляется замечательный шанс сбежать к себе в комнату и отсидеться там, читая что-нибудь «немотивирующее», но разъяренная мама уже заполнила собой весь дверной проем, и я залажу с ногами в большое кресло, понимая, что придется присутствовать.

— Какая у тебя есть удивительная способность — все разговоры переводить на себя, — говорит отец, уходя от ответа.

— То есть ты хочешь сказать, что я — эгоистка?! — снова взрывается мама, и в ее глазах блестят первые слёзы. — Да я уже забыла, как это — думать о себе! Я уже не помню, когда последний раз была на выставке, в театре или на концерте!

— Это я тебя туда не пускаю?! — передергивает плечами отец.

— Туда меня не пускает твоя мизерная зарплата! Это раньше за три рубля можно было попасть на любой спектакль и на концерт самого известного артиста!! А сейчас?! Ты знаешь, сколько стоит билет на хороший концерт?! Целое состояние!

— Интересный у тебя, дорогая, денежный эталон в «три» рубля! И, как мне кажется, ты им достаточно несправедливо манипулируешь. Насколько я знаю, эти твои тренинги тоже обходятся нам в «три рубля»! Вот и сэкономила бы себе на театр! — иронично замечает папа, снова прикрываясь газетой.

Но мама грозной тучей подлетает к нему, выхватывает газету и рвет ее на части:

— Экономить?! Да я уже устала на всем экономить! Я жить хочу, а не экономить!

Из «тучи» льются первые капли.

— Ну, тогда нужно было выходить замуж за какого-нибудь олигарха, а не за меня! — разводит руками отец, задетый за живое.

— Когда я выходила за тебя замуж — олигархов еще не было.

— Ну теперь-то есть! Еще не поздно, дорогая!

— Поздно! Уже поздно! Ты уже сожрал всю мою молодость, красоту и нервы!

— Не сожрал! Подавился! Застряло все это у меня в горле, дышать уже не могу!

Это — кульминация. Конечно папа немного перегнул, и я уверена, что мама сейчас разрыдается. Именно так все и происходит. Она как-то разом обмякает, теряя напор и силу, а главное размер, превращаясь в маленькую обиженную девочку и, мягко оползает в соседнее кресло, и «туча» проливается обильным дождем.

Папа стоически держится минуты три, демонстрируя всем своим видом твердость и негибкость мужского характера, а потом идет к маме извиняться. Она, конечно, отворачивается и отпихивает его рукой, но все равно понемногу успокаивается, всхлипывая все реже и реже.

Теперь можно тихонечко выбраться из кресла и беспрепятственно проскользнуть в свою комнату — мириться родители будут, как минимум, полчаса.

У себя в комнате я снова забираюсь с ногами на свою кровать и надеваю наушники. Я не слушаю музыку. Вернее, я ее слушаю гораздо реже, чем все мои сверстники. Обычно я слушаю мантры. Папа не совсем прав обвиняя маму в том, что она затаскала меня по всевозможным тренинга и семинарам. Я не хожу туда из-под палки, мне самой нравится посещать все эти мероприятия со множеством приветливых и улыбчивых людей. В жизни люди улыбаются мне значительно реже, а если честно, то совсем не улыбаются. Они меня не обижают, нет, а просто не замечают. Все ведут себя так, будто меня нет в комнате, в квартире, в зале. Так, будто меня нет на планете Земля.

Я думаю, папа немного ошибается на счет меня. Я не зайчик, из которого мама старается сделать льва, я — невидимка, которая очень хочет чтобы ее заметили, разглядели, оценили. Она хочет стать хоть кем-нибудь, если не львом, то хотя бы зайчиком.

Вы скажете, что так не бывает. Что таких людей-невидимок не существует. Нет, они существуют, просто вы их не видите. Вспомните, в вашей детсадовской группе, в школе, в институте непременно был кто-то, кто тихо и незаметно сидел на пятой парте слева или на четвертой справа. Вот видите, вы даже не помните где он сидел, а главное, как его звали. Чтобы вспомнить его или ее имя нужно достать школьный альбом с фотографиями и найти фото этого человека и стукнуть себя по лбу: «Ну да! Конечно — Дина! Дина Суходольская!» Стукнуть, вспомнить, закрыть альбом и тут же забыть и имя, и фамилию.

Помимо того, что я все время думаю и прокручиваю в голове миллионы вариантов и комбинаций на всевозможные темы, совершенно не нужных среднестатистической девушке, я еще попадаю во всяческие неприятные или комические ситуации. Это у меня с детства. Вернее еще раньше. С самого моего рождения.

Все началось с того, что меня перепутали в роддоме с одним новорожденным мальчиком. То есть маме приносили кормить какого-то совершенно незнакомого малыша, а меня увозили на скрипачей каталке к его маме. По запеленатым детям совсем не понятно, кто ты — мальчик или девочка, и поэтому мама кормила чужого мальчика, нежно прижимала к груди и называла Диночкой.

Факт подмены обнаружился при выписке, когда мама решила переодеть на мне распашонку, перепеленать и закутать меня в принесенное папой розовое одеяльце. Она предельно нежно развернула ненаглядный сверток и... На ее истошный вопль сбегались все врачи, медсестры и нянечки, и быстро разродились все роженицы, даже те, кто до этой минуты никак не мог разродиться.

Когда же мне исполнилось полгода, на очередной из прогулок моя мама приглянулась молоденькому офицеру, который решил позаигрывать с ней весьма странным способом. Зайдя в магазин, мама оставила меня, спящую в коляске, у входа, а этот шутник ничего умнее не придумал, как укатить коляску за угол, чтобы потом выйти, с веселым криком: «Оп-ля!» вернуть ребенка и получить лавры победителя в виде

благодарного поцелуя за бесценную находку. Но получил не лавры, а сумкой по мордасам. Это ещё надо сказать «спасибо» маминной подруге, которая встретила её в магазине и пыталась всячески сдерживать подругу, иначе мама офицера-шутника просто убила бы.

А ещё, в два годика, я умудрилась закрыть маму в туалете. Просто двигала маленьким пальчиком шпингалет, пока он не защелкнулся намертво. И вот вам ситуация: запертая в уборной мама бьется в истерике, понимая, что ее ребенок остался один на один в квартире со множеством страшных и опасных вещей — ножами и вилками, о которые можно порезаться, газовой плитой и спичками, при помощи которых можно устроить пожар или, хуже того, взрыв, и ванная комната с краном, покрутив который, точно так же как шпингалет, можно устроить наводнение или бесславно утонуть.

Все эти кошмарные мысли клубились у мамы в голове, пока она, наедине с унитазом, стучала и билась в истерике, умоляя меня «подергать пальчиком защелочку». Я была послушной девочкой и дергала защелочку, но у меня ничего не получалось. В итоге, под напором материнского инстинкта и роящихся в ее голове ужасов,

шпингалет был благополучно сорван, мама освобождена, а я обезопасена.

Конечно всех этих историй, случившихся со мной в самом нежном возрасте, я не помню. Их и много-много других, мне и многим-многим другим людям, много раз рассказывали мои родители. Как анекдоты.

Осознавать себя частью мира и помнить все, что со мной приключилась я начала лет с трех. И одну такую, осознанную, историю я вам сейчас расскажу.

Была осень. Мы с мамой стояли на остановке и ждали автобуса, чтобы ехать к врачу. Собственно говоря, автобусом меня в эту поездку и заманили. Мне редко доводилось ездить на общественном транспорте, поэтому «мы поедem туда на автобусе» звучало почти как «мы полетим с тобой на Луну».

И вот он приехал автобус, блестя огромными стеклами и фарами, и заманчиво урча невидимым желудком-мотором. Мама подвела меня к входным дверям и легонько подтолкнула вверх, я поставила правую ногу на нижнюю ступеньку автобуса, наклонив корпус, потом, усердно пыхтя, подтянула левую, выпрямилась и... И неожиданно оказалось в

кромешной темноте. Исчезло все: мои ноги, автобус, люди, мама. Исчез весь мир! Меня окружала лишь густая темнота и духота. Звуки и голоса не исчезли совсем, но улетели куда-то вдаль и, приглушившись, стали какими-то ватными. Было так страшно, как не бывало еще ни разу за мою короткую детскую жизнь. И тогда я закричала, заорала, завопила что есть мочи и стала отчаянно размахивать руками, пытаюсь разгрести эту страшную, пугающую маленьких детей, непонятно откуда взявшуюся темноту. И в ответ на мои вопли раздался ответный крик, более мощный, но не менее испуганный. Громкий и истошный. От этого крика холодело все внутри и останавливалось мое маленькое, до смерти перепуганное, сердце.

Объяснение всему произошедшему оказалось достаточно комичным. В то время в моде были женские пальто сильно расклешенные к низу. И вот я, как оказалось, поставив ногу на ступеньку автобуса и наклонившись вперед, попала под пальто, заходящей впереди меня в транспорт, модной дамы. Выпрямившись и жутко испугавшись, я начала барахтаться и орать, чем изрядно ее напугала. Не понимая, что там у нее под пальто шевелится и вопит, женщина пришла в ужас и ничего умнее не придумала, как тоже заорала во всю мощь своего взрослого голоса.

Потом, конечно, все долго и громко смеялись: тетка в модном пальто, моя мама, водитель автобуса и все пассажиры. Не смеялась только я, не в силах забыть холодный и липкий страх от того, что весь мир в одночасье исчез, сорвавшись в безвоздушную темноту.

Честно говоря, я так и не научилась долго и громко смеяться. Как не научилась проявлять все другие человеческие эмоции. За всю жизнь я научилась лишь думать, много и путанно. И мама считает эту мою привычку самой большой проблемой в общении, поэтому и записывает меня на всевозможные коммуникативные тренинги.

Нельзя сказать, чтобы они мне совсем не помогали. Чисто теоретически, я все понимаю и принимаю, но как любит повторять наш папа: «Теория — пять, практика — два.»

У меня совсем нет друзей. И я очень от этого страдаю. Мне кажется, что людям со мной скучно, а я не хочу им себя навязывать, поэтому в компании мне проще сесть где-нибудь в уголке и остаться незамеченной, тихонечко наблюдая за всеми, а еще лучше — остаться дома, почитать что-нибудь,

послушать мантры или подумать. Дома в каком-то смысле лучше. Правда, лишь в каком-то.

В этом году я закончила школу. Закончила, надо сказать, вполне пристойно и подала документы сразу в три вуза, два из которых находятся в нашем городе, а один — в другом. И в этом, другом, мне хотелось бы учиться больше всего.

Мама настаивает, чтобы я поступала на юридический, папа же говорит, что это плохая идея. Во-первых, юристов наплодилось, хоть пруд пруди, а во-вторых, работа юриста требует стройности мышления, которой я, увы, похвастаться не могу, и поэтому мне такой путанной и не организованной прямой дорога в компьютерщики. Мама возмущено кричит, что это не женская профессия и что я, сидя перед ящиком двадцать часов в сутки вконец ослепну (я не очень хорошо вижу и иногда ношу очки) и никогда не выйду замуж. А папа возражает, что судьба найдет меня и на печке, если нужно, и что на «мужском» факультете у меня, как раз-то, будет намного больше шансов найти себе мужа. О моем будущем они спорят весь последний год — часто, горячо и подолгу, а я надеваю наушники и слушаю мантры.

Кем хочу быть я, никто меня не спрашивал, а если бы спросили, то я бы ответила, что хочу быть гидом-переводчиком. Мне нравится английский язык, поездки и общение с людьми. Правда, в языке я преуспела значительно больше, чем в сфере межличностных коммуникаций, поэтому придется довольствоваться малым. Я тайком от родителей подала документы в Университет туризма, экономики и права. Именно этот вуз находится в другом городе и мне немного страшно уезжать от родителей и начинать самостоятельную жизнь, поэтому я всю ответственность за свою судьбу переложила на волю случая и решила, если мне придет вызов из универа, значит — я меняю свою жизнь и свое местожительство, а если нет, то остаюсь в родном городе и выбираю любой из оставшихся вузов — по маминому или папиному желанию. Честно говоря, если мне не суждено стать гидом-переводчиком, то мне все вообще равно где учиться и кем быть. Можно просто бросить жребий. Для этого у меня есть две специальные «судьбоносные» пуговицы, огромные и абсолютно одинаковые по форме и размеру, но разные по цвету. Одна синяя, вторая — красная. Когда мне нужно принять какое-нибудь важное решение, я ложу эти пуговицы в свой носок, скручиваю его и зажимаю пальцами дырку, а потом отчаянно трясу, мысленно отправляя запрос во Вселенную, затем

закрываю глаза и вытаскиваю одну из пуговиц, ложу ее на ладонку и смотрю. Красный цвет пуговицы всегда означает «да», а синий, соответственно, «нет». Вот так Вселенная отвечает на мои вопросы и помогает мне принимать жизненно важные решения.

Ответ из вуза пришел. А вместе с ним пришло беспокойство. Карусель из вопросов: «Правильный ли выбор я делаю?», «Где я буду жить?», «Есть ли при универе общежитие?», «Смогу ли я найти общий язык с соседками по комнате?», «Может быть лучше снять квартиру?», «А кто ее будет оплачивать?», «Можно ли будет совмещать учебу с работой?» и, конечно, главный вопрос: «Как сказать родителям, что я решила ехать учиться в другой город?!» закружилась в моей голове со страшной силой.

Утром мама зашла ко мне в комнату и, присев на край кровати, тронула за одеяло:

— Динюш, я вот тут подумала... Может быть папа прав, и ты сама должна принять это решение? Ведь это твоя жизнь. Не хочешь на юридический, не надо. Если душа не лежит, то не учеба будет, а сплошное мучение. А я ведь не хочу, чтобы моя девочка мучилась.

— Правда? — радостно встрепенулась я и села на кровати.

— Ну конечно правда, милая, — улыбнулась мама и уже собралась уходить, но я остановила ее неожиданным признанием.

— Тогда я тебе признаюсь, мама. Я подала документы в Университет туризма, экономики и права и буду учиться в Наногrade. Мне уже и ответ пришел.

— Что?! — мама взвивается, словно укушенная и с воплем: «Тимур, ты знаешь, что учудила твоя дочь?!» — мчится в спальню будить отца.

Она его не только будит, но и тащит ко мне сонного за рукав пижамы.

— И что учудила моя дочь? — спрашивает невозмутимый, как всегда, папа сонно-спокойным голосом.

— Она собирается нас бросить!

— Куда бросить? — не понимает отец и, похоже, окончательно просыпается.

— Не куда, а откуда, — поправляет мама не очень уверенно.

— И откуда она собирается нас бросить?

— Ни «куда» и ни «откуда»! Не путай меня! Ты пришел сюда, чтобы надо мной издеваться?! — мама вскипает быстрее электрического чайника.

— И в мыслях не было, дорогая! Я сюда вообще не приходил, меня сюда притащили, — улыбается папа как можно примирительней. Но мама примириться не хочет.

— Потому что пока тебя не притащишь и не ткнешь носом, ты ничего предпринимать не станешь! Тебе всегда и на все наплевать! — мама театрально заламывает руки, и ее глаза наливаются слезами.

— Хорошо, я сейчас сделаю все, что нужно, только скажи — чего именно ты от меня ждешь! — вздыхает отец обреченно.

— А сам ты не догадываешься?! — всхлипывает мама и одаривает его полным презрения взглядом.

— А сам я не догадываюсь. Да, Лара! Вот такой я у тебя недогадливый! — приходит время вспылить папе. — Просто скажи — что я должен сделать! Просто скажи и все!

— Ты должен ее отговорить!

— Хорошо. Я ее отговорю. Если буду знать от чего, — соглашается отец.

И они снова надолго забывают обо мне, пытаюсь что-то друг дружке доказать, выяснить и в чем-то переубедить, не зная, что это совершенно бесполезно, потому что — если женщина согласна с мужчиной, значит — он прав, а если не согласна, значит — он ее муж.

Я вскакиваю с кровати, долго топчусь на месте, тщетно ожидая окончания ссоры и таки не выдерживаю.

— Мама! Папа! — ору я. — Может быть вы перестанете, наконец?!

И они перестают, одновременно впадая в ступор и уставившись на меня двумя парами самых родных на свете глаз.

Все когда-то случается впервые. За последнее время со мной таких «впервые» случилось целых два — я впервые приняла самостоятельное решение и отправила свои документы туда, куда хотела, и впервые позволила себе повысить голос. Не на родителей, а вообще. Еще никогда в жизни я ни на кого не кричала. И сейчас стою, виноватая и перепуганная, втянув голову в плечи, очень сожалея о том, что не родилась на этот свет улиткой и не имею возможности спрятаться в домике. Вся без остатка. Вместе с рожками, которые я вдруг решила показать и угрызениями совести, вцепившимися в меня в тот самый миг, как только стих мой голос.

Я стою перед родителями, поникшая и раскаявшаяся, ожидая наказания, но то, что происходит дальше, окончательно повергает меня в шок. Вместо того чтобы возмутиться, папа с мамой кидаются ко мне с радостными криками и поцелуями.

— Ура! У ребенка прорезался голос! — кричит папа, а мама тискает меня что есть силы и восклицает:

— Вот видишь, видишь! Мои гены-таки пробили себе дорогу!

— Все! Теперь можно отпускать ее учиться туда, куда она хочет, хоть в Наноград, хоть в Африку! — облегченно вздыхает папа, но мама тут же возражает:

— Куда захочет — можно. Хоть в Африку, но только не в Наноград.

— Я так и знал! — хлопает себя по бедрам отец. — Лара, сколько времени прошло, а ты все не успокоишься.

— А при чем-тут время?! При чем тут время! Это разбитое сердце время лечит, а твою безумную мать не вылечит никто, даже самые лучшие врачи!

— Лариса, заканчивай! — молнии блещут в глазах отца.

— Хорошо, я закончу! Не вопрос. Но учти — Дина поедет жить к твоей матери только через мой труп.

Теперь я попробую вам кое-что прояснить. Дело в том, что в Нанюграде живет папина мама и моя бабушка — Софья Аркадьевна Суходольская, от которой меня отлучили еще в младенчестве по причине не схожести характеров невестки и свекрови. Поженившись, папа с мамой прожили в профессорской квартире бабушкиного первого мужа, папиного отца, и моего именитого, и теперь уже покойного, дедушки менее полугода и разругались насмерть. Что именно между ними произошло, я вам сказать не смогу, ибо не посвящена в подробности внутрисемейного конфликта. Из обрывков фраз, маминых обвинений и упорного папиного молчания мною был создан жуткий образ невозможной старухи — взбалмошной, выжившей из ума и чуть не лишившей меня отца. Именно этот факт придавал сложившемуся в моем сознании образу фатальные черты нещадного монстра. В детстве мне снились кошмары, в которых то одна, грязная и черная, старуха с клюкой и бородавкой на носу, то другая — пыталась отобрать у меня папу. Старухи снились разные — одна чудовищнее другой, неизменной оставалась лишь бородавка и состояние дичайшего

ужаса. Я просыпалась мокрая от слёз и желания побежать в спальню родителей и проверить присутствие отца, которого я очень сильно любила. Поначалу я так и делала — срывалась и бежала к постели отца и падала плашмя ему на грудь, обнимая что есть силы, вцепляясь в него крепко-накрепко, не отодрать. И папа не отдирал. Он брал меня на руки и относил обратно в мою комнату, повторяя всегда одни и те же слова:

— Не бойся, моя девочка. Никто и никогда меня у тебя не отберет. Ты мне веришь?

И я верила. До следующего кошмарного сна.

«Теперь вы меня понимаете? Теперь вы понимаете, почему я не люблю стариков? Это все из-за детских страхов, самых ярких и самых сильно влияющих на дальнейшую взрослую жизнь. Так в один голос говорят все психологи, к которым так любит водить меня мама.»

Мама очень хочет, чтобы из меня получилось что-то стоящее. Мама очень любит это слово и вставляет его где надо и где не надо.

«Стоящий фильм. Рекомендую!» — советует она подругам. «Ей повезло. Она встретила стоящего

мужчину», — резюмирует мама в рассказе о чьей-то удавшейся судьбе. «Берите! Не пожалеете! Это — стоящая вещь!» — дожимает она теми же аргументами процесс покупки.

«Наша мама — перфекционистка!» — любит повторять папа с непонятной эмоциональной окраской. Поэтому я до сих пор так и не знаю, мама-перфекционистка хорошо это или плохо. «Ты должна стремиться к совершенству!» — говорит мама уверенно, надраивая кастрюли, сковородки и оттирая до хруста кафельную плитку!» Говорит уверенно, а в глазах ее прячется и колыхается, где-то в самой глубокой глубине, огромная вселенская тоска.

Папа считает иначе. «Делай, как хочешь! — говорит он. — Но так, чтобы я мог тобой гордиться! И чтобы ты сама могла собой гордиться! Да, ты не лев, ты — зайчик, но ты лучший Зайчик из всех зайчиков!»

А я не лев и ни зайчик, вернее, я немножко лев и немножко зайчик, и на это «немножко» влияет, практически, все. Всегда находится тысяча и одна причина для того, чтобы *сегодня* я чувствовала себя зайчиком. Может быть это будет не целое *сегодня*, а какая-то его часть: полдня, час,

минута, секунда, миг... Но этот миг способен все испортить. Потому что всего лишь на миг пошатнувшись, испугавшись, засомневавшись в себе, я запоминаю этот миг своей неуверенности и неустойчивости надолго, навсегда. И вспоминая его, этот миг, я всегда чувствую такой стыд и такую вину, что перестаю дышать. Так бывает, когда хочешь спрятаться, хочешь, чтобы тебя не заметили, не догадались, что ты здесь, чтобы прошли мимо.

«Чувством вины блокируется центр удовольствия», — говорят нам на тренингах коучеры. И мама заставляет меня внимательно их слушать и тщательно записывать всё, сказанное ими, в толстую коричневую тетрадь. А если ей кажется, что я слушаю недостаточно внимательно или записываю с не той тщательностью, как бы ей хотелось, она тут же рождает во мне новую волну вины. Горячую и вязкую, с которой непременно нужно начинать бороться.

«Вся жизнь — борьба!» — любит повторять мне мама, и вспоминает с грустью и сожалением свою пламенную комсомольскую молодость. «Мы были другими! Мы жаждали сотворить что-нибудь стоящее, настоящее, на века! Нынешняя молодежь, какая-то вялая, неактивная!» — говорит она и я

сразу чувствую неловкость за свою вялость и свою неактивность, а еще за отсутствие желания сотворить что-нибудь на века.

Впрочем, чувствовать неловкость — мое нормальное состояние. Мне всегда неловко за себя: за то, как я выгляжу, хожу, сижу, молчу и разговариваю. Мне неловко за свои слова и за свое молчание, за свои путанные мысли и неозвученные желания. Мне неловко за маму, нападающую на папу, и неловко за отца, прячущегося за газетой и не смеющего ей возразить. Мне неловко за соседку сверху, вытряхивающую свой половик с балкона и за своих сверстников, отпускающей скабрзные шутки в адрес молоденькой биологички, мне неловко за того, кто нацарапал в кабине лифта слово «бля...ь» и неловко сейчас писать об этом. Мне неловко за водителя маршрутки, закрывающего дверь перед носом пенсионеров и за пенсионеров, брюзжащих в салоне все той же маршрутки, злобных и надорванных жизнью. Мне неловко за свое правительство, виновных в этой их надорванности.

Я тащу этот вселенский груз неловкости на своих плечах, словно муравей свою непосильную ношу и понимаю, что никакие тренинги на свете и

никакие раскрутые коучеры не в силах меня от него избавить.

Вот видите, мои мысли опять убежали куда-то не туда, цепляясь друг за дружку, петляя и путаясь. Хотела объяснить вам про бабушку, а унеслась в просторы и дебри моей неловкости.

Теперь я попробую вернуться назад и отыскать отправную точку моего лирико-философического рассуждения. Ага, вот... Рассказ прервался на том месте, где мама, разъяренная словно тигрица, кинувшаяся спасать своего тигренка, крикнула папе, сверкая непримиримостью:

— Дина поедет жить к твоей матери только через мой труп!

Это безотказный прием. Видимо папе, как любому нормальному человеку, не очень нравятся женские трупы, поэтому на этих словах он обычно сдается и уступает маме. Но, не в этот раз.

— Ну, это как тебе будет угодно, — отвечает папа тихо, но твердо. Так твердо, что мама понимает — ей действительно придется умереть на этом пути. Она еще, конечно, пробует отыскать в

этой неожиданной папиной «твердости» уязвимое место. Уязвимым местом она считает меня.

— Пожалуйста! Можешь отправить ребенка к этому чудовищу, к этой беспринципной и безнравственной старухе! Загуби судьбу своей единственной дочери! Пусть твоя мать превратит ее жизнь в ад!

— Лара! Может быть уже хватит делать из моей матери монстра?! Софья Аркадьевна высокообразованная и интеллигентнейшая женщина!

— Ну да... Ты еще скажи «высоконра-а-авственная» и вспомни ее родословную, с которой она носитя всю жизнь, как сантехник с гаечным ключом, возомнив себя княжной!

— И вспомню! Наш род, и вправду, один из самых благородных дворянских родов, а мой прадед, вообще — грузинский князь.

— Да знаю я, знаю. Поперек горла мне уже эта ваша родословная! Прадед твой, может быть, и благородный князь, но вот твоя мамочка... ну ни

разу не княжна. А если и княжна, то с такими... тараканами! Не выведешь!

— Ну что поделаться, милая, тараканы, как глисты, вездесущи и непобедимы! — язвит папа и выходит из комнаты. Мама беспомощно машет руками и начинает рыдать.

Ночью мне снятся тараканы и глисты, танцующие самбу, а еще ненормальная княжна Софья Аркадьевна, превращающая мою жизнь в ад. А стоит мне проснуться, как неугомонная карусель снова кружит в моей голове: «Может, все-таки, безопаснее остаться дома в своей любимой комнате с привычными книгами, обоями, компом и мантрами в наушниках? Неужели так нужна мне эта новая взрослая жизнь? Остаться?... А вдруг я пропущу в своей жизни что-то очень важное, необходимое, если останусь тут, дома? И так ли невыносимо будет жить в доме Софьи Аркадьевны, способной превратить мою жизнь в ад?» После маминих слов я никак не решаюсь назвать Софью Аркадьевну бабушкой.

Честно говоря, я сама превратила свою жизнь в ад, вернее ее последний месяц, терзаясь

сомнениями — ехать или не ехать мне в Наногород к живущей там княжне с тараканами. Чаши весов не просто колеблются, они летают вверх и вниз, не давая мне никакой возможности принять решение. Совершенно истерзанная я решаю разом покончить со всей этой чехардой в моей голове, прибегнув к проверенному методу двух пуговиц в носке, но никак не могу их найти. Я перерываю всю комнату, все мыслимые и немыслимые места и совсем расстраиваюсь.

Завтра мой выпускной вечер. Но вместо того, чтобы крутиться у зеркала, носиться по магазинам, подбирая к свежешитому платью и свежекупленным туфлям всевозможные дополнения и мелочи, в виде бусинок, цепочек, заколок, цветочков, серёжек, браслетов и клатча, делающих образ завершенным и приближенным к совершенству, которое так любит мама, я тупо валяюсь на диване, все больше понимая, что не хочу всей этой суеты. Как не хочу и самого выпускного. Вернее той роли, которая мне на нем уготована. Роль невидимки. Если тебя по жизни не замечают, то не все ли равно, какое на тебе платье, туфли и прическа.

Я захожу на Фейсбук, открываю свою страничку, на которой всего восемь друзей, и

листаю ленту новостей. Лайкаю котиков и чьи-то фотки, в надежде, что меня тоже кто-нибудь заметит и нажмет «нравится», но виртуальный мир равнодушен ко мне также, как и реальный. Я просматриваю чужие посты в надежде найти хоть что-то интересное, и мне попадает на глаза фраза: «Бывает, что не пишет только один человек, а кажется, что молчит весь мир.» И я понимаю, что — да! Да! Именно так. Пусть молчит весь мир, пусть игнорирует, не замечая меня, но пусть напишет, позвонит, придет только один человек — Альберт Тутов. Красивый, умный, уверенный в себе. Самый лучший на свете. И завтра этот самый лучший на свете человек перестанет быть моим одноклассником. И это будет самым большим горем в моей семнадцатилетней жизни.

Честно признаться, на чаше весов именно мои чувства к Альберту Тутову перевешивают всё остальное, все мои «за» и все мои «против» не стоят ничего в сравнении с тем, что я больше никогда не увижу его, сидящего наискосок от меня, на пятой парте слева. И чтобы посмотреть на него мне приходится выдумывать всевозможные уловки и выверты, потому что я сижу на второй парте справа. Вернее, сидела... От этого прошедшего времени у меня сжимается сердце и наворачиваются слёзы, и хочется подойти к нему

завтра, сразу после торжественной части или немного позже, уже в ресторане, где можно выпить немного вина для храбрости. Выпить вина, подойти к нему и сказать:

— Какой же ты дурак, Тутов! Я люблю тебя с шестого класса, а ты ничего не замечаешь! А ты смотришь сквозь меня, как-будто меня не существует. Сквозь меня и сквозь мою любовь, такую живую, такую настоящую, такую, которая однажды и на всю жизнь!

Выпить, сказать ему это все и поцеловать нежно-нежно в его красивые губы.

А может и правда?! Взять и признаться. Признаться и уехать. Прямо с выпускного вечера, с прической и в красивом платье. И я уже вижу эту удивительную картинку — я стою у окна вагоне, такая вся безвозвратная, а Тутов бежит, бежит по перрону и машет мне рукой и что-то кричит, но я не слышу его голоса. Я не слышу его голоса, но знаю, что он умоляет меня остаться. Потому что ему никак не прожить на этом свете без моей настоящей любви.

— Динюш, а ты с прической-то что решила?

Я вздрагиваю от неожиданности и смотрю на маму непонимающими рыбьими глазами. Рыбьими в смысле пустыми, а не в смысле некрасивыми. Я ведь еще вся там, в вагоне, в своей свежесочиненной сказке...

— Доча, с тобой все нормально? — тревожиться мама и я спешу ее успокоить.

— Да. Задумалась просто.

— Слушай, нужно соорудить тебе на голове что-нибудь стоящее! Со мной в парикмахерскую пойдешь или как?

— Мам, а может не нужно ничего «сооружать», может, ну его, этот выпускной? — спрашиваю я робко.

— Здрасте-приехали! Ты опять за старое! Платье сшито, туфли куплены, за ресторан деньги уплачены! Немалые, между прочим, деньги!

Мама присаживается на край моей кровати и берет меня за руку.

— Выпускной — это же один раз в жизни! Праздник, который не повторяется!

— Подпирать всю ночь стенку — еще тот праздник, — горько ухмыляюсь я.

— Вот только не нужно этих пораженческих настроений! Вспомни, чему тебя учили на тренинге! Нужно быть активной! Брать инициативу в свои руки! Не приглашают тебя танцевать? Иди и приглашай сама! Вот, кто из мальчиков тебе нравится? Кто-то же должен тебе нравиться!

— Да... нравится, — шепчу я, медленно и неотвратно превращаясь в помидор.

— Вот и замечательно! Как его зовут?

— Альберт, — еще тише признаюсь я и чувствую, как в горле все пересыхает.

— Ту-уто-ов? — протяжно произносит мама и глаза ее до краев наливаются удивлением. Оно плещется там минуты три и сменяется живым интересом. Она разглядывает меня так, словно видит впервые.

— А кто такой Тутов? — спрашивает вошедший в комнату папа.

— Альберт Тутов — самый красивый и самый перспективный мальчик в Динином классе, — отвечает мама рассеянно. — Никогда не думала, что она заберется в своих мечтах так высоко.

— Но, ты же сама говорила: «Целься в Луну! Даже если промахнешься, все равно окажешься среди звезд!» — приходит мне на выручку папа.

— Ну... это я говорила в фигуральном смысле, — растеряно произносит мама.

— То есть, для всех ваших установок существуют поправки на реальность? — папа не может отказаться от удовольствия подразнить жену.

— Вот только давай сейчас обойдемся без подколов! Наша дочь влюбилась в лучшего мальчика класса и..., — мама смолкает на несколько минут.

— И что?! — теревит ее отец нетерпеливо.

— И это очень плохо!

— Что же в этом плохого?

— А то, что он разобьет ей сердце! — вспыхивает мама, вскакивая с кровати.

— Всем когда-нибудь кто-нибудь разбивает сердце, — вздыхает отец. — Нужно понять, что это неизбежно и научиться его склеивать. В конце концов, Динка, тебе будет не стыдно вспоминать, что когда-то в юности тебе разбил сердце Альберт Тутов, самый крутой мальчик класса, а не какой-то там Федя Пузырьков!

— Какой еще Федя Пузырьков? У них в классе нет никакого Феди Пузырькова!

— Это я в фигуральном смысле, — разводит руками папа и делает попытку сменить тему, понимая, что мама не только топчется по моему самолюбию, но и расковыривает самую больную мою ранку.

— А ужинать мы сегодня будем?

Но, похоже, маме не до ужина. Маме нужны все подробности моей личной жизни.

— А он, вообще, к тебе как? — спрашивает она, игнорируя вопрос об ужине.

— Он ко мне никак, — отвечаю я, тысячу раз пожалев о своем признании.

— Вот видишь! — заводится мама. — Зачем тебе этот менингит?! Где ты, а где — Альберт Тутов!

— Лара, прекрати! — одергивает ее отец, но мама продолжает добивать меня вескими аргументами.

— Диночка, девочка моя! Ты, конечно, большая умница, и мы тебя очень любим, но нужно уметь ставить перед собой лишь достижимые цели!

— Лара, ты себя слышишь?! Ты совсем свихнулась со своими тренингами?! — вскипает отец. — Причем тут цели? Тутов — это не цель, Тутов — это любовь! И хватит об этом! Идемте ужинать!

— Ты не понимаешь! — кричит мама яростно. — Я же хочу ее уберечь! Она должна реально оценивать свои возможности и свои шансы! А в случае с Тутовым у нее нет ни единого шанса! Ни еди-но-го!

Отец силой уводит маму на кухню, а я сворачиваюсь калачиком, натягиваю футболку на голову и закрываю уши руками, но мамины слова, по-прежнему, звенят у меня в голове: «Где ты, а где Альберт Тутов!» И я отвечаю ей в своей же голове: «Меня нет, мама... Меня нет... Я — невидимка».

Ночь, жаркая и надрывная, дробит мой сон на куски, и я пытаюсь склеить их в своем не проснувшемся сознании. Мне снится Альберт Тутов, совершенно голый, и совершенно совершенный в этой своей наготы. На его груди сверкает и переливается, меняя цвет как чешуя хамелеона, татуировка «Самый лучший мальчик класса». И я стою и смотрю на него, на всего такого голого и такого татуированного, и мне ужасно неловко за себя и за него. За эту его абсолютную обнаженность и за свое странное желание его разглядывать. Всего, до самых-самых неприличных подробностей.

Вся мокрая от жары и стыда я лежу и смотрю в темноту, туда, где должен быть потолок и прислушиваюсь к тому, что творится у меня внутри. А внутри у меня творится черт знает что. Мысли и желания, противоречивые, странные и стыдные, сцепившись крепко-накрепко в один клубок, катаются в моем сознании, оставляя после

себя горячую серую пепельную дорожку. Но я продолжаю увеличивать скорость, и через какое-то время внутри меня уже нет ничего, ни мыслей, ни желаний. Такой способ яростного мышления ведет к абсолютной выжженности сознания. И это пока единственный способ успокоиться и уснуть. Единственный способ, который я знаю.

Засыпаю я под самое утро, словно скатываясь с обрыва в темное небо, будто лечу снизу вверх, успевая в последнюю секунду осознать всю абсурдность происходящего.

Мама будит меня очень рано и настойчиво. Тащит меня, непроснувшуюся, в ванную, а потом в парикмахерскую, и мы сидим там в очереди и духоте, и я засыпаю на ее плече в надежде еще раз увидеть Тутовскую татуировку.

Из парикмахерской мы выходим лишь в полдень, и я пытаюсь разглядеть себя в многочисленных витринах, но не вижу в них ничего, кроме несуразного силуэта, напоминающего мне полураспустившийся одуванчик. Мама стремительно волочет меня за руку, но мои ноги не поспевают за ее стремительностью, и я падаю со всей дури на асфальт и разбиваю себе обе коленки. Вдрызг.

Поскуливая от боли и досады, я понимаю, что выгляжу по-дурачки: с прической и разодранными коленками. Присев подле меня на корточки, мама ахает и причитает, промакивая носовым платком сочащуюся кровь. А я стою и думаю, что это знак, еще одно подтверждение тому, что мне не нужно сегодня переться на этот долбаный школьный выпускной.

Но переться таки приходится. Отвратительные зеленые коленки то и дело выглядывают из высокого центрального разреза платья, придуманного мамой специально для привлечения мальчишеского внимания, а когда я поднимаюсь по ступенькам, они вообще выбираются наружу. Так что внимание ко мне привлекает не разрез, а мелькание «зеленых лягушек», сидящих на моих ногах. Во всяком случае я так ощущаю, а еще я ощущаю саднящую боль при каждом шаге, а стоит мне сесть — она становится просто нестерпимой. Прихватившиеся корки лопаются, из-под них сочиться сукровица и к ней постоянно прилипает подол моего шифонового платья, цвета нежнейшей чайной розы. Любимого цвета моей мамы.

Я отдираю невесомую ткань с капельками крови и прилипшими струпами, вскоре пятен на моем платье становятся всё больше, и я прячу ноги под стол и очень радуюсь тому, что меня никто не приглашает танцевать.

К часу ночи родителей в зале ресторана становится намного меньше. Мои папа и мама тоже собираются уходить, и я делаю попытку уйти с ними, но мама вскидывает на меня полный негодования взгляд:

— А как же традиция?! Традиции нужно соблюдать.

— Какие традиции? — спрашиваю я и умоляюще смотрю на папу.

— Всем вместе встречать рассвет, — произносит мама так торжественно, будто она сама эту традицию придумала. Папа пробует встать на мою сторону, но мама одергивает его с таким ожесточением, что он лишь разводит руками.

И я остаюсь одна. Большинство людей танцует в зале ресторана, остальные курят на улице и обжимаются в кустах, за столом только я и чья-то бабушка, которая поворачивается ко мне и громко

спрашивает через стол своим скрипучим старушечьим голосом:

— А что это ты, деточка, не веселишься? Надо веселиться! Все танцуют, а ты не танцуешь? Сидишь весь вечер. Надо танцевать!

Она говорит так громко, что на нас начинают обращать внимания. И те, кто еще не заметил, что Суходольская сидит весь вечер камнем, замечают это, брезгливо отворачиваются и хихикают. Впрочем, может быть мне только кажется, что брезгливо и что хихикают, ведь я ничего этого не вижу, а только предполагаю. Я разглядываю свои руки, лежащие на коленях, и ненавижу эту любопытную старуху, а заодно и всех старух на свете, которые так любят совать нос в чужую жизнь.

Потом я поднимаюсь и бреду вдоль длинного стола к выходу, но у самого его конца задерживаюсь, беру начатую бутылку какого-то вина и, выкрутив пробку, наливаю его в чей-то пустой бокал. Много наливаю, до краев. Осторожно поднимаю бокал и осторожно несую ко рту, но вино все равно выплескивается на скатерть и на мое платье, и по животу расползается фиолетовая медуза размером с мой кулак. «Замечательно! —

думаю я. — Прекрасное дополнение к зеленым коленкам и струпьевым пятнам».

Я пью вино и к своему удивлению обнаруживаю, что оно приятное и сладкое, и тогда я быстро, тремя глотками, осушаю бокал и наливаю себе еще. А потом еще.

Да! Я решила напиться и воплотить в реальность свое безумное желание — признаться Альберту Тутову в любви. Я сделаю это потому, что сегодня я пьяная и смелая, а завтра я сяду в поезд и уеду. И мне совершенно наплевать, что подумает обо мне сам Альберт, мои одноклассники, которым он, смеха ради, разболтает о моем признании и весь этот город, который не замечает моего существования и не признает моего права на счастье.

Со вторым и третьим бокалом вина я добавляю к своей фиолетовой медузе еще парочку зверушек: безногого слоника на груди и маленького головастика на правом бедре. Но меня несколько не смущает весь этот зоопарк на моем платье, и я ищу глазами предмет своего обожания — Альберта Тутова. Его нигде нет, ни среди танцующих, ни за столом, ни у пульта диджея, возле которого так любят тереться меломаны. Интересно, а Альберт

Тутов — меломан? И что я вообще знаю о нем, кроме того, что он красив, умен и носит татуировку на правом плече в виде китайского иероглифа, означающего: «Жизнь — это лабиринт, выход из которого — смерть.» Китайские иероглифы они такие — емкие и вместительные.

Я выхожу на улицу и бреду через палисадник в сторону дома, путаясь в длинном платье, которое не умею носить, и спотыкаясь на высоких каблуках, на которых не умею ходить.

Хочется содрать с себя это многострадальное платье, сбросить эти жутко неудобные туфли и разрыдаться громко и отчаянно, чтобы хоть как-то улучшить этот дурацкий день. Ведь после слез всегда становится легче.

— Суходольская, это ты? — окликает меня кто-то невидимый из темноты. И я делаю шаг в сторону, в кусты, туда, откуда зовет меня до боли знакомый голос.

Так и есть. Альберт Тутов. Он ужасно пьян и едва стоит на ногах, а завидев меня радуется как ребенок.

— Суходольская, как хорошо, что это ты! Я тут телефон потерял. Шарю, шарю... в траве, — жалуется он и громко икает. — Посвети мне своим.

Я собираюсь достать из сумочки свой телефон и вдруг понимаю, что сумочки-то никакой у меня нет. Я оставила её там, в зале. Или еще где.

— Подожди, я сейчас! — умоляю я и несусь обратно в ресторан, ломая каблук и подворачивая ноги. Сообразив, сбрасываю ненавистные туфли и мчусь дальше босиком. Мне нельзя терять ни секунды! Альберт Тутов ждет меня в зарослях жасмина и такое счастье невозможно профукать, такое счастье случается один раз в жизни.

Сумочка преспокойно лежит на столе, на том самом месте, где я, решив напиться, вливала в себя вино. Я быстро хватаю свой клатч и стремительно бегу назад, цепляясь за двери развивающимся подолом платья. Мое несчастье платье вскрикивает тихонечко, ткань натягивается и рвется, но я не останавливаюсь, я вылетаю на улицу, оставив на дверной ручке лоскут шифона нежнейшего цвета чайной розы. По дороге подхватываю брошенные мной туфли и успеваю подумать о том, что пьяные выпускники невероятно честный народ, ему совершенно нет дела ни до чужих сумочек, ни до

туфель. Мне неизвестно, что дело вовсе не в честности, а в том, что у выпускников сейчас в голове лишь селфи, бухло, травка и скоропостижный секс в кустах или туалете.

И вот я стою перед Тутовым, тяжело дыша, босая и растрепанная в разодранном платье, испещренном всевозможными пятнами, всех цветов, размеров и конфигураций, прижимая к груди туфли и сумочку.

— Какая ты шустрая, однако, — восхищенно произносит невозможно красивый и невозможно пьяный предмет моей любви и снова икает. Я снова бросаю туфли на землю и, достав из сумочки телефон, свечу им в траву. Минут двадцать я ползаю по траве в поисках Тутовского телефона и к пятнам крови и вина, добавляются еще травяные пятна и просто грязь. Я напрочь забываю о своих разбитых коленках и совсем не чувствую боли.

Альберт по траве не ползает. Альберт стоит рядом и хвалит меня своим бархатным сопрано:

— Хороший ты человек, Суходольская... Отзывчивый... Я бы тебе помог, но что-то меня мутит... Что-то мне плохо как-то... а ты — человек! Да-а-а... ты очень хороший человек...

А потом он бьет себя ладонью по лбу и восклицает радостно:

— Во блин! Совсем забыл! Я ж его Муромову дал! Телефон свой! У него батарея села, а я ему свой одолжил... что-то мне как-то нехорошо...

Я поднимаюсь с колен и оказываюсь совсем рядом с Альбертом. Я чувствую его дыхание на своей макушке, и каждая моя волосинка пьянеет от счастья. Я замираю. Я хочу продлить этот удивительный миг. Еще никогда он не стоял так близко от меня, так досягаемо. Я едва осязаемо шевелю рукой, готовой птицей взлететь ему на плечо и, набравшись смелости, заглядывают в его глаза. И вижу в них страдание. Живое, настоящее, неподдельное страдание. И каждая клеточка моего тела отзывается, несется навстречу с радостным воплем: «Да! Да! Вон оно! Наконец — свершилось!» Как же долго я этого ждала.

Станный, невнятный, какой-то глубинный звук прерывает мой счастливый клеточный экстаз, и я с удивлением смотрю на Альберта Тутова, чуть наклонившегося вперед и понимаю, что звук идёт из него. В следующую секунду его тело конвульсивно вздрагивает и опорожняется.

Альберта Тутова рвет прямо на мое бедро. То, что час назад еще называлось выпивкой и закуской теперь медленно и безобразно стекает по моему злосчастному платью. Это его апофеоз. Если бы на свете существовал конкурс «Как за один вечер превратить в дерьмо свое новое платье», моя блистательная авторская работа заняла бы первое место.

Тем временем Альберт Тутов выпрямляется, и я читаю в его глазах счастье освобождения от страданий и понимаю, что его страдания, в отличие от моих, были совсем не душевные, а желудочные.

— Хорошая ты, Суходольская... добрая такая, душевная...

Похоже, он окончательно приходит в себя и, окинув меня взглядом с ног до головы, добавляет:

— Но такая... жутко несуразная.

В палисаднике темно, но не настолько, чтобы я не смогла рассмотреть отвращение и брезгливость в его глазах.

— У тебя водички нет? — спрашивает он. — Ужасно пить хочется.

И потянув воздух ноздрями — кривится. Ему не нравится как пахнет то, что еще недавно находилось у него внутри. И еще раз взглянув на меня с убийственной жалостью, Альберт Тутов разворачивается и уходит.

И я тоже слышу этот отвратительный запах. Нет, не запах Тутовской блевотины. Это пахнут, передохшие от разочарования, бабочки в моем животе.

Я плетусь домой, всячески избегая встречных людей, стараясь не наткнуться на редких утренних прохожих. Я их жалею. Им еще сегодня работать, может быть даже спасти человеческие жизни, а тут я, вся такая жуткая и несуразная. Вот увидит меня какой-нибудь врач, испугается и не сможет оперировать больного своими дрожащими от жутких воспоминаний руками. И больной скоростижно умрет. Или, не в операционной, а в каком-нибудь центре управления полетами вдруг представит меня прохожий диспетчер, и содрогнувшись от ужаса, перепутает очень важные координаты, и произойдет неминуемая авиакатастрофа, и погибнут ни в чем неповинные люди. Или, к примеру, пожарник...

Про пожарника мне не дает додумать, выскочившая с громким лаем из подворотни, облезлая бродячая собака, набитая до краев ненавистью ко мне и ко всем людям, когда-то ее обидевшим. Ее огромная пасть полна зубов, слюны и желания загрызть меня, такую жутко несуразную, до смерти.

«И правильно, — думаю я. — Такие наивные, нелепые и несуразные люди непременно должны быть кем-то загрызены. Если не собаками и людьми, то собственной совестью, которой у них слишком много. Гораздо больше, чем это нужно среднестатистическому человеку.»

Я стараюсь вставить и повернуть ключ в замке как можно тише, и медленно открываю входную дверь, прислушиваясь к сонной тишине своего дома. Прямо здесь, в прихожей, я сдираю с себя ненавистное платье, собираюсь найти какой-нибудь непрозрачный пакет, чтобы мама не разглядела его среди всего прочего в мусорном ведре. Я кладу сумочку на вешалку, бесшумно опускаю туфли с вывернутыми и искореженными каблуками на пол, и в это время ключи выскальзывают из моих рук и с грохотом ударяются о кафельную плитку. Дверь в спальню приоткрыта, и я понимаю, что этого звука достаточно, чтобы прервать мамин, всегда такой